

Станислав КУНЯЕВ

К 75-летию Юрия Кузнецова

# «Приснился родине герой...»



а всё, что не подтверждается жизнью личности с её событиями, поступками, восторгами и разочарованиями, как я считал тогда, было «всё прочее — литература». Словно предвидя сомнения такого рода, Кузнецов позднее ответил на них:

От пронизательного чтенья  
Вся обнажается до дна  
Литература самомнения,  
Где копошится злоба дня,

Где топчут бисер свиньи быта,  
На ум дерзает интеллект,  
И у разбитого корыта,  
Как вещь в себе, сидит субъект...

Но попадают глубины,  
В которых сразу тонет взгляд,  
Не достигая половины  
Той бездны, где слова молчат.

**Я** познакомился с поэтом в начале 70-х годов прошлого века, когда Вадим Валерьянович Кожин, обладавший особой страстью к поиску русских талантов, устроил в Малом зале ЦДЛ первое выступление Юрия Кузнецова на московской публике.

Надпись на афише была многозначительной: «Новые веяния в современной поэзии». Стихи Кузнецова, которые он прочитал сам, и восхитили, и озадачили меня. А потому, выступая я сказал, что автор, несомненно, талантлив, но в то же время я не чувствую в его стихах лиризма, который составляет суть русской поэтической традиции. А ещё вспомнил, как Владимир Маяковский, уже обретший всею союзную славу, однажды, услышав народную песню «Мы на лодочке катались», посетовал, что его стихи никогда не станут песнями, на что после вечера в узком застолье Кузнецов ответил мне, что мнение Маяковского о поэзии ему неинтересно. Но Вадим Кожин был счастлив и объявил всем, что в русскую поэзию пришёл автор, который надолго определит её развитие...

Это стихотворение я впервые прочитал в статье критикессы, которая, говоря о Кузнецове, писала «Он», «Его», «Ему» — с большой буквы. Но Пушкин, словно предвидя такого рода споры о поэзии в грядущих временах, старался снизить пафос подобных «воззрений» и оправдать поэтическое простодушие жизни, сделал поэзию продолжением личной судьбы творца:

Иные мне нужны картины:  
Люблю песчаный косогор,  
Перед избушкой две рябины,  
Калитку, сломанный забор,  
На небе серенькие тучи,  
Перед гумном соломы кучи  
Да пруд под сенью ив густых,  
Раздолье уток молодых;  
Теперь мила мне балалайка  
Да пьяный топот трепака  
Перед порогом кабака.

Мой идеал теперь — хозяйка.  
Мои желанья — покой,  
Да щей горшок, да сам большой.



С тех пор прошло сорок с лишним лет, в течение которых я убедился, что хотя Кожин был прав, но тем не менее, Кузнецов не стал полностью «моим поэтом». Его стихи и восхищали, и возмущали меня, но жить ими я не мог. Почему? Да, наверное, потому, что не находил в них «пищи для сердца», если говорить пушкинским языком.

Меня всегда смущали во многих его стихах, в том числе ставших хрестоматийными, некая мрачная метафизика и некий диктаторский культ воли. Мой вкус коробили казавшиеся сверхъестественными высокопарные метафоры, вроде «червь сквозь сердце моё проползёт». На мой тогдашний взгляд, его стихи были плодом могучего воображения, но не прямым продолжением личной судьбы поэта,

В те годы я нащупывал свою стилистику и эстетику соотношения поэзии и жизни, судьбы и слова.

Я на днях случайно прочитал книжку невеликого поэта. Где-то под Ростовом он упал, захлебнулся кровью и не встал, и не видел, как пришла Победа.

Но отвага гению сродни, но подобно смерти откровенье, и стоит, как церковь на крови, каждое его стихотворенье.

Вот и мне когда-нибудь упасть, подтвердить своей судьбою строчку, захлебнуться и поставить точку — значит, жизнь и вправду удалась.



В том, что я был хоть в чём-то прав, что и Юрий Поликарпович мечтал о подтверждении своего слова судьбою, меня впоследствии убедили его стихи о связисте Путилове из «Сталинградской хроники», за мгновение до смерти сомкнувшем зубами перебитый осколком телефонный провод:

Был бы я благодарен судьбе,  
Если б вольно волей поэта  
Я сумел два разорванных света —  
Тот и этот — замкнуть на себе...

Умный и пронизательный критик Кирилл Анкудинов пишет об этой особенности кузнецовского миропонимания так: «Сам Кузнецов, как и его герои, большей частью своего бытия пребывал в мире Мифа <...> он знал, что все его привязки к реальности настолько слабы и незначимы, что реальность не простит ему этого».

Я был поэтом реальности. Однако его железная последовательность — «идти мне железным путём» — одновременно и восхищавшая, и отталкивавшая своими несколькими «общими местами» и блистательными (как в прозе Проханова) штампами, отмеченными личным клеймом, в конце концов, перемолола мой скепсис. Ну, что делать, коли Бог дал ему именно такой дар, и он по-своему платит за бремя этого таланта, терпит непонимание, платит сверхнапряжением своих, увя, человеческих сил, платит верой и сомнением, платит погружением в «адские бездны» и возвращением из них... Помню, как он терпеливо, словно подростку, объяснял мне, что значит слово «тло».

— Ну, что-то вроде дна? — пытаюсь догадаться, спрашивал я его.

— Да нет, гораздо глубже! Когда говорят «сгорел дотла, то надо понимать, что

отсюда слово «тлен» и слово «тля», а может быть, и «тело», то есть смертная наша часть. Но это и самое что ни на есть последнее дно, то есть адское... Где всё сгорает! После этого «тлю» ничего ни от чего, ни от кого не остаётся! Там даже время сгорает!

Много позже я прочитал в «Сожествии в ад»:

Мы обращались по лестнице вниз,  
и сошли  
Прямо на тло...

Это было подобьем земли.

Добро и Зло для него были почти материальными сущностями, и мир, в котором они сражаются, условен. Но почему в моей душе после его «Лейтенантов и маркитантов» началось сражение двух этих вечных сил? Как случилось, что он создал свой воображаемый виртуальный миф и затащил в него меня? Это же не мой мир! Я не хочу и не могу в нём жить! Однако Юрий Поликарпович неумолим:

Для того, кто по-прежнему молод,  
Я во сне напою лошадей.  
Мы поскачем во Францию-город  
На руины великих идей.

Но тому, кто молод, нечего делать во Франции, в гостях у этой маркитантско-торгашеской Марианны, стоящей за мировым прилавком. Не хочу я туда ехать! Пусть туда едет Андрей Вознесенский — в гости к Арагону и Эльзе Триоле (Каган), или Аксёнов — на свою дачу в Бретани, или Ерофеев — на очередную европейскую книжную ярмарку... Какие там «руины великих идей» остались? Никаких... Какие «священные камни» можно было увидеть в Европе? Разве что знаменитый собор Парижской Богоматери, в котором над